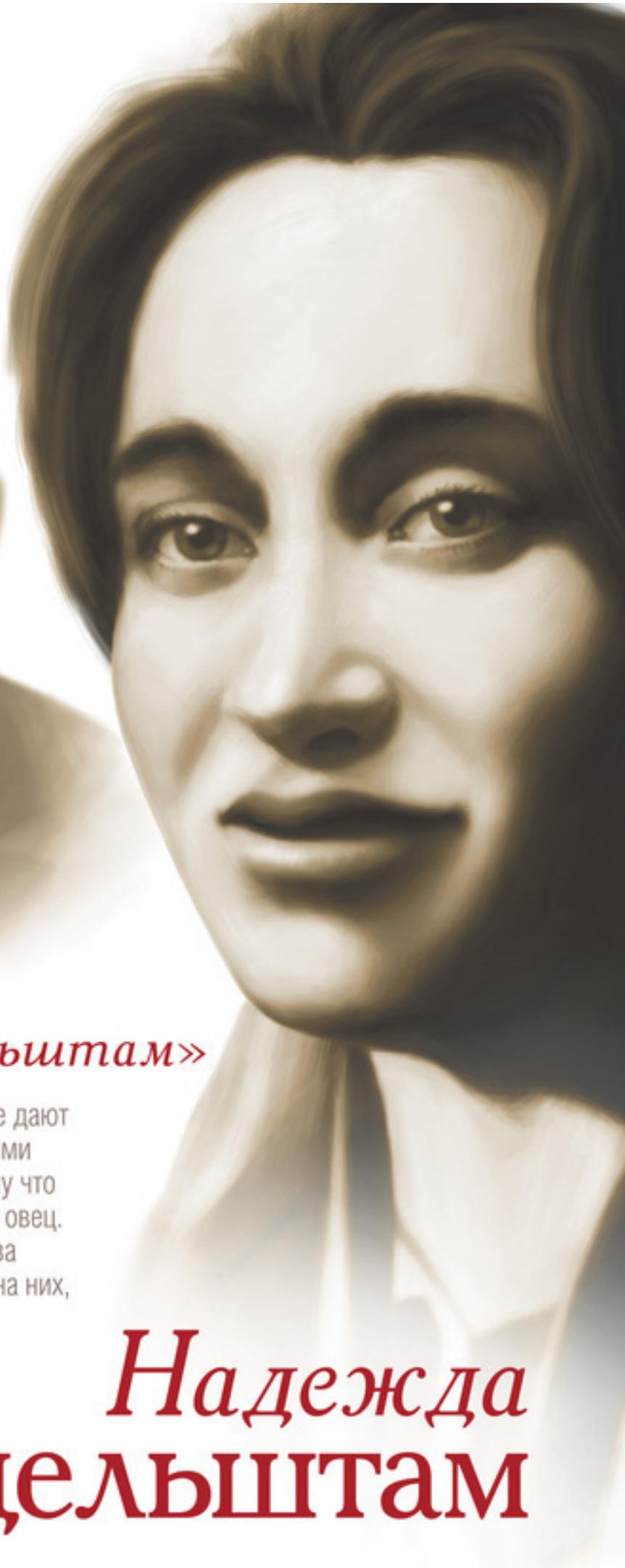


Великие 
биографии



*«Мой муж —
Осип Мандельштам»*

Все мы были овцами, которые дают себя резать, или почтительными помощниками палачей, потому что не хотели переходить в отряд овец. Почему О.М. покорно пошёл за солдатами, а я не бросилась на них, как зверь?

Надежда
Мандельштам

Великие биографии

Надежда Мандельштам

Мой муж – Осип Мандельштам

«Издательство АСТ»

Мандельштам Н. Я.

Мой муж – Осип Мандельштам / Н. Я. Мандельштам —
«Издательство АСТ», — (Великие биографии)

Из-за воспоминаний Надежды Мандельштам общество раскололось на два враждебных лагеря: одни защищают право жены великого поэта на суд эпохи и конкретных людей, другие обвиняют вдову в сведении счетов с современниками, клевете и искажении действительности! На Западе мемуары Мандельштам получили широкий резонанс и стали рассматриваться как важный источник по сталинскому времени.

Содержание

Часть 1. Мы	5
Потрава	5
«Мы»	11
Распад	15
В пути	19
Чад небытия	24
Жилплощадь в надстройке	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Надежда Мандельштам

Мой муж – Осип Мандельштам

Часть 1. Мы

Потрава

Я не люблю свою раннюю молодость. У меня ощущение, будто по колосающему полю бежит огромное стадо – происходит гигантская потрава. В те дни я бегала в одном табунке с несколькими художниками. Кое-кто из них вышел потом в люди. У нас были жесткие малярные кисти, мы тыкали их в ведра с клеевой краской и размазывали грубыми пятнами невероятные полотнища, которые потом протягивали поперек улицы, чтобы под ними прошла демонстрация. Развешивали полотнища ночью. Художники с домоуправом – они возникли с приходом «красных», как тогда говорили, словно грибы после дождя, – врывались в чужие квартиры, распахивали окна и балконные двери и, переругиваясь со стоявшими внизу помощниками, крепко привязывали свое декоративное произведение к балконной решетке. Девочки в ночных игрищах не участвовали, а мальчишки поутру со смехом рассказывали подружкам, как пугались жители злосчастных квартир, когда орава во главе с управдомом ломилась среди ночи в квартиру.

Марджанов ставил пьесу испанского классика: деревня взбунтовалась против сеньора, потому что он нарушил старинные права. Народ побеждает, женщины вздымают руки над головами и ритмически поводят боками, актеры кричат хором: «Вся власть советам», а зрительный зал ревет от восторга. Для апофеоза художник Исаак Рабинович придумал неслыханное изобилие: через всю сцену протягивалась гирлянда бутафорских фруктов, овощей, рыбных и птичьих тушек подозрительно фаллического вида. Овация нарастала. Исаак выходил раскланиваться. Он вел за руку двух своих помощниц: одна была я, другая – моя подруга Витя, служившая раньше подмалевком у Экстер. Это мы с Витей раскрашивали фруктообразные фаллосы, уточняя форму, халтурно сделанную в бутафорской. Нас забрасывали грудями дешевых киевских роз, и мы выходили из театра с огромными охапками, а по дороге домой розы теряли бледные лепестки, но бутоны, к счастью, сохранялись.

Нас занимали то театральными постановками, то плакатами, и нам казалось, что жизнь играет и кипит. На первый выданный аванс мальчишки купили кошельки – до этого у них не было ни денег, ни кошельков. Мы проедали деньги в кофейнях и в кондитерских. Они открывались на каждом шагу – бежавшие с севера настоящие дамы пекли необычайные домашние пирожки и сами обслуживали посетителей. Плакатных денег хватало на горы пирожков: ведь мы переживали период романа наших хозяев с левым искусством, а мой табунок был левее левого. Мальчишки обожали «Левый марш» Маяковского, и никто не сомневался, что вместо сердца у него барабан. Мы орали, а не говорили, и очень гордились, что нам иногда выдают ночные пропуска и мы ходим по улицам в запретные часы. Если мы забывали захватить пропуск, патрули, увидав наши кисти, мирно пропускали нас дальше по пустым улицам. Кисть служила пропуском не хуже бумажки, выданной комендантом, а в патрулях тоже расхаживали мальчишки, вооруженные, правда, винтовками и наганами. Они стреляли, а мы малевали...

В наш дружный табунок постепенно просачивались гости с севера. Одним из первых появился Эренбург. Он на все смотрел как бы со стороны – что ему оставалось делать после «Молитвы о России»? – и прятался в ироническое всепонимание. Он уже успел сообразить, что ирония – единственное оружие беззащитных. У молодых да еще левых художников был

блаженный дар – не знать, что они беззащитны. Мы бегали под выстрелами и прятались в подворотнях. С девятнадцатого года беспорядочная стрельба на улицах почти вывелась, а город обстреливался пятидюймовками перед сменой власти. К этому мы почти что привыкли.

По вечерам мы собирались в «Хламе» – ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов. «Хлам» помещался в подвале главной гостиницы города, куда поселили приехавших из Харькова правителей второго и третьего ранга. Мандельштаму удалось пристроиться в их поезде, и ему по недоразумению отвели отличный номер в той же гостинице. В первый же вечер он появился в «Хламе», и мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали первое мая девятнадцатого года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. В тот период мы и не чувствовали себя связанными, но уже тогда в нас обоих проявились два свойства, сохранившиеся на всю жизнь: легкость и сознание обреченности.

На этаж ниже в той же гостинице поселили Мстиславского. У него на балконе всегда сушились кучи детских носочков, и я удивлялась, зачем это люди заводят детей в такой заварухе. Мстиславский заглядывал в чужие номера и повествовал об аресте царя. Он всегда напоминал, что он рюрикович, и подчеркивал древность своего рода по сравнению с Романовыми. Мандельштам морщился.

Юность ни во что не вдумывается. Тревога и озабоченность старших нас не трогали. Мрачные старики, наши родители, шли к гибели, а дети веселились. Огромная толпа приехавших с севера, уже в полной мере познавшая голод и разруху, откармливалась на хлебах еще не разоренной Украины и спешила нагулять побольше жиру, прежде чем снова откатиться назад. Деньги падали медленно, и люди, которые привезли из Москвы груды ничего не стоящих бумажек, ликовали, покупая на них полноценные продукты.

Мандельштам, такой же веселый, как все, чем-то от других отличался. Наша внезапная дружба почему-то вызвала общее раздражение. Ко мне ходили мальчишки и уговаривали меня немедленно бросить Мандельштама.

Однажды Эренбург долго водил меня по улицам и доказывал, что на Мандельштама никак нельзя положиться: если хочешь в Коктебель, – мы все хотели на юг, действовала таинственная тяга, – прочь от дому куда-нибудь южнее, – поезжай к Волошину, это человек верный – с ним не пропадешь... Я знала, что Эренбург сам мечтал удрать к Волошину и спрятаться за ним, как за каменной стеной. Откуда у Волошина была такая слава, я не знаю, но думаю, что он сам создал про себя легенду и ее поддерживали окружавшие его женщины, а легенды – вещь живучая. А на «ты» с Эренбургом мы перешли случайно, шутки ради, встречая вместе девятнадцатый год. Он звал меня Надей, а я его почтительно по имени-отчеству. Пути наши разошлись, но добрые отношения сохранились – особенно с его женой Любой. Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. С ним единственным я поддерживала отношения все годы. Беспомощный, как все, он все же пытался что-то делать для людей. «Люди, годы, жизнь», в сущности, единственная его книга, которая сыграла положительную роль в нашей стране. Его читатели, главным образом мелкая техническая интеллигенция, по этой книге впервые узнали десятки имен. Прочтя ее, они быстро двигались дальше и со свойственной людям неблагодарностью тут же отказывались от того, кто открыл им глаза. И все же толпы пришли на его похороны, и я обратила внимание, что в толпе – хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал свое дело, а дело это трудное и неблагодарное. Может быть, именно он разбудил тех, кто стали читателями Самиздата.

Что же касается до советов Эренбурга в девятнадцатом году, то я к ним, конечно, не прислушалась и весело его высмеивала, изображая в лицах, как он меня поучает. Боюсь, что, кроме братьев Маккавейских, моих чудачливых и добрых приятелей, все мои слушатели были на стороне Эренбурга. А насчет Мандельштама я уже догадывалась, что его легкомыслие не похоже на легковесность моих друзей. Он говорил иногда вещи, которых я ни от кого еще не

слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многого из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла, но потом, когда я уже стала кое-что понимать, он больше об этом не заговаривал. У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни. Тогда убивали на каждом шагу, и я склонялась к мысли, что смерть просто нелепая случайность.

Еще Мандельштам пытался мне объяснить, что такое узнавание. Это интересовало его тогда больше всего. Он слышал, что узнавание психологически необъяснимо, но для него вопрос стоял шире. Он думал не только о процессе, то есть о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственно нужную минуту, как судьба. Так узнается слово, необходимое в стихах, как бы предназначенное для них, так входит в жизнь человек, которого раньше не видел, но словно предчувствовал, что с ним переплетется твоя судьба. Говорил он со мной очень осторожно – приоткрывал щелочку и тут же захлопывал, как будто оберегал от меня собственный мир, куда все же хотел, чтобы я заглянула. В этом было настоящее целомудрие, и я чувствовала его и в стихах, но люди вокруг нас о такой штуковине даже не подозревали. Целомудрие, душевное, физическое – любое, если б они с ним столкнулись, показалось бы им чем-то вроде вывиха или перелома кости. Только цинизмом среди них и не пахло. Во всяком случае, никто из тех, кто стал художником, циником не был, хотя и повторял любимое изречение Никулина: «Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги...» Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-современному, жеребятина. Карнавальный Киев девятнадцатого года любил марджановскую постановку, левизну во всем – в политике, в речах, в мысли и особенно в любви. Впрочем, это была не любовь и не мысль, а какие-то обрубки.

А я рассказала Мандельштаму, как мне случилось позировать мальчику-скульптору по фамилии Эпштейн. Он жил высоко на Лютеранской улице в барской квартире, покинутой хозяевами. В его комнате я впервые столкнулась с неприкрытой нищетой: небранная койка с рваной тряпкой вместо простыни, а на столе – жестяная кружка для чаю. Не знаю, что случилось с этим Эпштейном, но бюст свой я потом увидела в киевском музее. Вряд ли он там уцелел: портрет еврейской девочки работы еврейского скульптора – слишком тяжелое испытание для интернационалистов Украины.

Однажды Эпштейн прервал работу и подозвал меня к окну. Мимо нас по пустырю солдаты вели спотыкающегося измученного человека с большой белой бородой. Эпштейн объяснил, что для этого человека, киевского, что ли, полицмейстера, придумали особую пытку – его ежедневно ведут на расстрел, приводят, не расстреливают и отводят обратно в тюрьму. С ним сводят счеты за то, что он был жесток в преследованиях революционеров. Это совсем не старый человек, а волосы у него поседел от пытки... Эпштейн, еврейский мальчик, которого этот полицмейстер, будь он у власти, не пустил бы учиться в Киев, не мог примириться с жестокостью мстителей (я не помню, при какой власти это происходило – при украинцах или при красных, – каждая старалась перещегоолять другую). Настоящему художнику жестокость противопоказана. Я никогда не могла понять, как Маяковский, настоящий художник, мог говорить зверские вещи. Вероятно, он настраивал себя на такие слова, поверив, что это и есть современность и мужество. Слабый по природе, он тренировал свою хилую душу, чтобы не отстать от века, и за это поплатился. Я надеюсь, спросят не с него, а с искусителей. Мандельштам, тоже еврейский мальчик с глубоким отвращением к казням и пыткам, с ужасом говорил о гекатомбах трупов, которыми «они» ответили на убийство Урицкого. Все виды террора были неприемлемы для Мандельштама. Убийцу Урицкого, Каннегисера, Мандельштам встречал в «Бродячей собаке». Я спросила про него. Мандельштам ответил сдержанно и прибавил: «Кто поставил его судьей?» Мальчиком под влиянием Бориса Синани он верил, что «слава была

в б. о.», и даже просился в террористы (для этого ездил в Райволу, как рассказано в «Шуме времени», но не был взят по малолетству). Потом отношение к террору начисто переменялось. Я запомнила разговор с Ивановым-Разумником в середине двадцатых годов. Он тоже жил в Детском Селе, и однажды мы к нему зашли. За несколько дней до нашей встречи в «Деловом клубе» в Ленинграде взорвалась бомба. Иванов-Разумник был по этому поводу в приподнятом настроении и очень удивился, что Мандельштам не разделяет его радости. Наконец он прямо спросил, чем объясняется такое равнодушие к столь важному событию: «Значит, вы против террора?» Мандельштам, разговаривая о мировоззренческих вещах, не имевших отношения к поэзии или философии, всегда как-то тускнел. Искренно удивленный, Иванов-Разумник осведомился, как Мандельштам расценивает подвиги террористов прошлого, казнь Александра Второго, например, и преисполнился чем-то очень похожим на презрение, узнав, что Мандельштам последовательно отрицает всякий террор, против кого бы он ни направлялся. Как это ни странно, но в те годы отрицание террора воспринималось как переход на позиции большевиков, поскольку они отказывались от террора как от метода революционной борьбы. Иванов-Разумник, вероятно, так и понял Мандельштама, хотя для полноты информации ему не мешало узнать, как тот относится к государственному террору, который мы успели узнать на опыте. А я во время этого разговора молчала и огорчалась: опять наткнулись на чужого, все почему-то чужие, и зачем Мандельштам не смягчает чуждость – что ему стоило уклониться от ответа или пробурчать что-нибудь неопределенное? – надо ли всюду и всегда подчеркивать свою чуждость вместо того, чтобы срезать острые углы... В молодости так хочется гармонии и розовых отношений с людьми. Непримируемость Мандельштама утомляла и тяготила мое незрелое сознание...

Мандельштам покупал и просматривал издания Центрархива, и среди них было много книг с делами террористов. О казненных говорить плохо он не стал бы, но его всегда удивляла скудость и ограниченность этих людей. (Мне хотелось бы, чтобы Кибальчич составлял исключение, но его дело, кажется, никогда не издавалось. Во всяком случае, мы его не видели.) Террор, как бы он ни проявлялся, был Мандельштаму ненавистен.

А в дни нашей ранней близости, в Киеве девятнадцатого года, Мандельштам был, пожалуй, единственным, который думал о смысле событий, а не об их непосредственных последствиях, как старшие, и не о пестрых проявлениях «нового», как молодые. Старших беспокоят существенные вещи: развал правовых норм и понятий, крушение государственности и хозяйства, младшие упивались тем, что отцы называли демагогией, с какой бы стороны она ни шла, и запоминали про запас случаи, которые так или иначе собирались потом использовать, а пока что жадно впитывали то, что ощущалось как последний день. Мы иногда раскрывали газеты, но не могли их читать, потому что уже тогда началось бурное воспитание народа и для этого разрабатывался особый язык постановлений, речей и прессы.

Однажды Мандельштам мне сказал, что «они» строят свою партию на авторитете наподобие церкви, но что это «перевернутая церковь», основанная на обожествлении человека. Разговор происходил в ванной комнате, обложенной кафелем, с двумя окнами и белой печкой. Он вытирал руки и вдруг заметил, где он: «Странный разговор для такого места»... Мысль настигла его в неподходящем месте и в неподходящую минуту: мы спешили поужинать, чтобы потом пойти в «Хлам».

Под самый конец, когда большевики перед уходом расстреливали заложников, мы увидели в окно – к этому времени Мандельштама уже выгнали из гостиницы и он жил с братом в кабинете моего отца – телегу, полную раздетых трупов. Они были небрежно покрыты рогожей, и со всех сторон торчали части мертвых тел. Чека помещалась в нашем районе, и трупы через центр вывозились, вероятно, за город. Мне сказали, что там был сделан желоб, чтобы стекала кровь, – техника еще была наивной. В другой раз солдаты провезли на телеге обросшего боро-

дой человека с завязанными назад руками. Он стоял в телеге на коленях и вопил во весь голос, взывая к людям, чтобы они спасли, помогли, потому что его везут на расстрел. В тот год толпа могла отбить заключенного, но на улицах никого не было – комендантский час... Мы видели, как он отбивается от солдат, пытавшихся заткнуть ему рот. Все это промелькнуло и тут же исчезло, но я и сейчас вижу этого человека, только его, скорее всего, везли не на расстрел – расстреливали в самой Чека, на горе, а телега шла под гору. Думаю, его переводили в Лукьяновскую тюрьму, а может, даже в больницу.

Нам пришлось видеть из другого окна, выходящего на городскую Думу, как разъяренная толпа после прихода белых ловила рыжих женщин и буквально разрывала их на части с криком, что это чекистка Роза. На наших глазах уничтожили нескольких женщин. Уже без Мандельштама – он успел уехать – город на несколько часов был захвачен красными. Они прорвались к тюрьме и выпустили заключенных, а затем красных выбили и отдали город на разграбление победителям. Жители охраняли дома и при появлении солдат били в медные тазы и вопили. Вой стоял по всем улицам. На улицах валялись трупы. Это было озверение гражданской войны. Карнавал кончился и лишь изредка возникал потом в пестрых постановках московских театров. Кому нужен был этот карнавал или, вернее, потрава?

Я не поехала с Мандельштамом в Крым, но не потому, что поверила словам Эренбурга. Он собрался в несколько минут, воспользовавшись неожиданной оказией – на Харьков отправляли специальный вагон с актерами. Все власти любили актеров – красные и белые. Мандельштаму нужно было уехать из Киева, где его никто не знал, а он всегда привлекал к себе злобное внимание толпы и начальников любых цветов. Я обещала приехать в Крым с Эренбургами, но не решилась – за порогом дома лилась кровь. А насчет легкомыслия Мандельштама – я уже поняла, что это просто легкое приятие жизни. Он уже тогда знал, что уклониться нельзя ни от чего и надо принимать то, что есть. Он пытался привить и мне такое отношение к жизни, но на это способен не каждый. И не каждый может жить текущей минутой, как Мандельштам. Я не могла. «Лоном широкая палуба» казалась мне гораздо более приятным способом передвижения, чем напрасные усилия безвесельных гребцов. Не я одна тосковала по устойчивости. В нашей жизни все полвека устойчивость была иллюзорной. Устойчивые дома рушились один за другим. В нашу эпоху ничего устойчивого не было, и лозунг Ахматовой: «Сейчас надо иметь только пепельницу и плевательницу» – вполне себя оправдал.

Киев гражданской войны с его минутным карнавалом, труппами, которые вывозятся телегами, и трехдневным ограблением города под вой обезумевших людей далеко не самое страшное из того, что я испытала в жизни. Это только прелюдия – потом стало гораздо страшнее.

Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Эренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес – нас успели выселить. В марте он приехал за мной – Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей, – это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне грудку стихов и сказал, что теперь уж наверное увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через две-три недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались, пока в ночь с первого на второе мая 1938 года его не

увели конвойные. Мне кажется, он так не любил расставаться потому, что чувствовал, какой короткий нам отпущен срок, – он пролетел как миг.

«Мы»

В первую нашу встречу в Киеве девятнадцатого года у Мандельштама была почти детская доверчивость и вера во всеобщую дружбу и благожелательство. Ему понравился «Хлам» – почти как «Собака», люди хорошие и кофе хороший. «Хлам» вскоре закрылся, потому что буфетчику показалось невыгодным торговать турецким кофе и всякой дешевой дребеденью, и мы перекочевали в греческую кофейню на Софиевской улице. В окне кофейни был выставлен плакат «Настояща простокваша только наша». Хозяин молот кофе в огромной мельнице и удивлялся, откуда к нему привалило столько народу, а хозяйка пекла пирожки и всех дарила улыбками. Когда пришли белые, карнавал кончился и кофейня опустела. Хозяйка перестала улыбаться и целыми днями дежурила у дверей, чтобы изловить хоть кого-нибудь из прежних посетителей и выдать белым. Всех, кто принес мгновенный расцвет кофейне с настоящей простоквашей, она считала большевиками и люто ненавидела. Первым ей попался Эренбург, но сумел отвертеться. Он предупредил меня, чтобы я не ходила по Софиевской, но я опять не придавала значения его совету. В результате следующей попалась я, и недавно еще улыбочивая хозяйка требовала, чтобы я сказала, где тот, «с кем ты гуляла», потому что именно его она считала главным большевиком и мечтала немедленно растерзать, как терзали перед Думой рыжих женщин, заподозренных в том, что они-то и есть «чекистка Роза». У меня не было детской веры Мандельштама во всеобщее благожелательство, но я все же верила, что человеческая улыбка в чем-то соответствует душевному настрою того, кто улыбается. Даже примитивная вежливость, которая заставляла улыбаться людей старшего поколения, чем-то смягчала нравы. Она исчезла из нашей жизни после ожесточения гражданской войны, и ей не суждено вернуться на эту бедную землю.

Однажды в киевские дни Мандельштам таинственно сообщил мне: когда я пишу стихи, никто ни в чем мне не отказывает... Я подумала – «балованный» – и спросила: «Почему?» Объяснить он не мог: не знаю, но так получается... Я решила, что он жил среди людей, которые любили стихи и были рады доставить удовольствие носителю поэтического дара. Да и желания, как я уже знала, были у него легко выполнимые – вроде чашки кофе или пирожка. В Петербурге, вероятно, еще добывалась рублевка или трешка на «Собаку».

Через несколько лет в измученной и одичавшей нэповской Москве он остро почувствовал, как все изменилось. О просьбах и говорить нечего: все держали свою щепотку чаю или кофе запрятанной, и никто бы не поделился даже с другом коркой черствого хлеба. Изменилось и отношение к стихам. Слух у людей отупел, и требовались особые средства, чтобы пробиться сквозь их глухоту. Вышла «Вторая книга», приходили разные люди, просили надписать и что-то говорили, но во всех отзывах, хвалебных и ругательных, нельзя было найти смысла: ум обленился и «задарма» работать не желал. В одной из статей Мандельштам написал о читателе, развращенном быстрой сменой поэтических школ и поколений: «...он приучается чувствовать себя зрителем в партере... морщится, гримасничает, привередничает...» А потом в стихах: «Еще меня ругают... на языке трамвайных перебранок, в котором нет ни смысла, ни аза...» Хвалили на том же трамвайном языке, и это еще хуже, чем брань... Он пересказывал мне, что услышал за день, и спрашивал: «Разве это так?» – и наконец догадался: «Они просто не любят стихов...» Что они вообще способны были любить? Люди, уцелевшие из поколений, действовавших в двадцатые годы, сейчас старики с самой позорной старостью, которые еще пытаются вмешиваться в текущую жизнь и остановить медленный и скрипучий процесс выздоровления, если он действительно идет, а не мерещится моему сочувственному, а их испуганному взгляду.

Действительно ли те, которые не отказывали ни в чем молодому Мандельштаму, любили и понимали стихи? Скорее всего, большинство из них по обычаю своего круга проявляли добросердечие и доброжелательство, а к стихам относились с добродушным сочувствием. Пока

существует свой круг, своя деревня, свой поселок, любое сообщество, связанное привычкой, обычаем, корнями, традицией, люди вынуждены улыбаться друг другу, и эта улыбка все же чего-то стоит. Литература из кожи вон лезла, чтобы разоблачить ханжество, ложь, фальшь и даже тайные преступления внешне пристойных, гладеньких, улыбающихся людей, но счастливо общество, в котором приходится хотя бы скрывать низость и подлость. Одни скрывают, другие обуздывают и, может, даже уничтожают в себе гнусное, которого достаточно в каждом из нас. Может, самообуздание и есть единственное, на что мы способны, и осуществляется оно лишь среди людей и на людях. Одиночке все дается гораздо труднее.

В двадцатых годах корни были подрублены, и тайным законом стало: «все позволено», с которым всю жизнь боролся Достоевский. Своеобразие заключается в том, что общество, взятое в железные тиски, с огромной быстротой приведенное к тому, что у нас называется единомыслием, состояло из особей, которые занимались самоутверждением в одиночку или собираясь в небольшие группы. Группа возникала, если находился подходящий вожак, и тогда начиналась борьба между группами за правительственную лицензию. Так было во всех областях – далеко не только в литературе. Тот же механизм породил Марра, Лысенко и сотни тысяч подобных объединений, проливших слишком много крови. Такие объединения не свидетельствуют об общности, потому что состоят из индивидуалистов, преследующих свои цели. Они говорят про себя «мы», но это «мы» чисто количественное, множественное число, не скрепленное внутренним содержанием и смыслом. Это «мы» готово распасться в любой момент, если забрезжит другая, более заманчивая цель.

На наших глазах произошло распадение общества, несовершенного, как всякое человеческое объединение, но скрывавшего и обуздывавшего свои пороки и где все же существовали небольшие группы, имевшие право сказать про себя «мы». По моему глубокому убеждению, без такого «мы» не может осуществиться самое обыкновенное «я», то есть личность. Для своего осуществления «я» нуждается, по крайней мере, в двух элементах – в «мы» и, в случае удачи, в «ты». Я считаю, что Мандельштаму повезло, потому что в его жизни был момент, когда нашлись люди, с которыми он мог объединить себя словом «мы». Краткая общность с «сотоварищами, соискателями, сооткрывателями», как он сказал в «Разговоре о Данте», отразилась на всей его жизни, потому что помогла становлению личности. В том же «Разговоре о Данте» говорится, что время есть содержание истории, «и обратно: содержание истории есть совместное держание времени» теми, кто объединяется словом «мы». Если человек помнит, что он живет в истории, он знает, что несет ответственность за свои дела и поступки, а мысли человека определяют его поступки. Наши поколения – мое и мандельштамовское – на всех перекрестках кричали, что живут в историческое время, но полностью снимали с себя ответственность за все происходящее. Они списывали все преступления эпохи и свои собственные на детерминированность исторического процесса. Это очень удобная теория для раскулачивателей всех видов, но почему, собственно, приходится раскулачивать, если ход истории предопределен?.. Впрочем, я не хочу целиком обвинять все поколение Мандельштама – в нем были люди, дорого заплатившие за свое неверие в официальные догматы. В моем окружении я таких не замечала. Если такие и существовали, они держались тише воды, ниже травы и видны не были.

Я возвращаюсь к Мандельштаму и к людям, с которыми он совместно «держал время». Жирмунский мне говорил, что в Тенишевском, где они вместе учились, к Мандельштаму сразу отнеслись бережно и внимательно. Смерть Бориса Синани, первого друга, была, вероятно, большим ударом. Нам случалось иногда встречать людей, посещавших в юности «розовую комнату» в квартире Синани. Однажды какая-то женщина рассказала Мандельштаму про гибель Линде, комиссара Временного правительства, на фронте. Эта гибель описана Пастернаком в его «Докторе» и в воспоминаниях генерала Краснова. Не знаю, был ли Пастернак знаком с Линде (в романе его зовут Гинцем), но версия генерала Краснова гораздо больше похожа на рассказ, который я слышала на улице от старой приятельницы Мандельштама, Линде и Бориса

Синани. О Линде Мандельштам вспоминал с уважением и нежностью, как обо всех, кто так или иначе был связан с его другом Борисом.

После смерти Бориса Синани Мандельштам провел целых два года за границей. Это период одиночества и стихов о юношеской тоске, неизбежном спутнике всякого юноши. Особенно одиноко он почувствовал себя в Италии, где прожил несколько недель даже не на положении студента, а туриста. Он всегда огорчался, что из-за юношеской внутренней смуты слишком мало видел и плохо использовал поездку.

Чувство обособленности исчезло только по возвращении в Петербург. В Териоках, куда он часто ездил отдыхать, Мандельштам познакомился с Каблуковым, кажется, секретарем Религиозно-философского общества. Сохранились дневники Каблукова, где он много пишет о Мандельштаме. Каблуков боролся с тягой Мандельштама к католичеству, хотел обратить его в православие, заставлял сдавать экзамены в университете, чего тот органически не умел, и, наконец, искренно огорчился, когда в стихах после романа с Мариной Цветаевой вдруг прорезался новый голос. Каблукову, как многим родным и духовным отцам, хотелось сохранить мальчика в его нетронутой юношеской серьезности. Мандельштам тянулся к Каблукову и, вероятно, много от него получил. Он невнятно объяснял мне, что в юности есть потребность, чтобы рядом был кто-то старший. Я не знаю, на сколько был старше Каблуков, но отец Мандельштама был еще жив, и он не мог открыто сказать, что ему не хватало отца.

Однажды Мандельштам без всякого предупреждения пришел к Мережковским. К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат; тогда она с ним поговорит, а пока что – не стоит, потому что ни из кого не выходит толку. Мандельштам молча выслушал и ушел. Вскоре Гиппиус прочла его стихи и много раз через разных людей звала его прийти, но он заупрямился и так и не пришел. (Точно передаю рассказ Мандельштама.) Это не помешало Гиппиус всячески проталкивать Мандельштама. Она писала о нем Брюсову и многим другим, и в ее кругу Мандельштама стали называть «Зинаидин жиденок».

Гиппиус была тогда влиятельной литературной дамой, и то, что она стала на защиту молодого поэта, к которому символисты, особенно Брюсов, отнеслись очень враждебно с первых шагов, по-моему, хорошо рекомендует литературные нравы того времени и самоё Гиппиус. А игра в «жиденка» продолжилась в мемуарах Маковского, который выдумал нелепую сцену с торговкой-матерью. Попав в эмиграцию и оторвавшись от своего круга, люди позволяли себе нести что угодно. Примеров масса: Георгий Иванов, писавший желтопрессные мемуары о живых и мертвых, Маковский, рассказ которого о «случае» в «Аполлоне» дошел до нас при жизни Мандельштама и глубоко его возмутил, Ирина Одоевцева, черт знает что выдумавшая про Гумилева и подарившая Мандельштаму голубые глаза и безмерную глупость. Это к ней подошел в Летнем саду не то Блок, не то Андрей Белый и с ходу сообщил интимные подробности о жизни Любови Дмитриевны Блок... Кто поверит такой ерунде или тому, что ей говорил Гумилев по поводу воззвания, которого никто никогда не находил, или денег, наваленных грудой в ящик стола... Нужно иметь безмерную веру в разрыв двух миров (или времен, как наша мемуаристка Надежда Павлович), чтобы писать подобные вещи. Пока существует «мы», даже поверхностное, даже количественное, никто себе ничего подобного не позволит.

Искусственный разрыв любого «мы», даже количественного, даже случайного, приводит к тягчайшим последствиям. Мы это наблюдали с ужасающей наглядностью, когда одни, очутившись за решеткой, клеветали на своих близких и друзей, недавних союзников и соратников, а другие, оставшиеся на свободе, отрекались от отцов и мужей, от матерей, братьев и сестер... И те и другие действовали «под нажимом», как у нас принято говорить, но я уверена, что не все объясняется этим проклятым нажимом. Мне недавно рассказали про самоубийство женщины, которая больше тридцати лет не могла забыть, как она отвернулась от отца, когда его уводили, и отказалась проститься с ним. Ей было всего одиннадцать лет в тот момент. Впоследствии

она сама попала за колючую проволоку, хлебнула горя, но то, как и почему она не простилась с отцом, которого больше не увидела, не могло не остаться пятном на ее душе. Другая женщина рассказала мне, как ее отец тревожился, когда забрали начальника, с которым он прослужил много лет. Дочери, тогда восемнадцатилетней комсомолке, показалась подозрительной или недостойной тревога отца, и она предупредила его: «Если тебя возьмут, я не поверю, что это ошибка...» Единство семьи рассыпалось под нажимом – ведь обе девочки, одиннадцатилетняя и восемнадцатилетняя, тоже действовали под нажимом воспитания и общественного мнения, которое клеймило гибнущих и славилو сильных. Сегодня чем старше человек, тем прочнее в него въелись «родимые пятна» прошлой эпохи. Седобородый хохмач Ардов, у которого в начале революции расстреляли отца, написал судьям, разбиравшим гражданский иск Льва Гумилева, длинное послание, в котором сообщил про судьбу отца, Николая Степановича, и о том, что сам Лева много лет провел в лагерях: по политической статье... Я не сомневаюсь, что Ардову пришлось столько раз отказываться от собственного отца, что предательство Гумилевых, отца и сына, ничтожная веха на его славном пути. Под нашим небом семья, дружба, товарищество – все, что могло бы объединиться словом «мы», распалось на глазах и не существует.

Настоящее «мы» – незыблемо, непререкаемо и постоянно. Его нельзя разбить, растащить на части, уничтожить. Оно остается неприкосновенным и целостным, даже когда люди, называвшие себя этим словом, лежат в могилах.

Распад

Около полугода мы проболтались с Мандельштамом в богатой и веселой Грузии. В первую минуту, переехав грузинскую границу в вагоне «для душевнобольных», мы поняли, что очутились в ином мире. Поезд остановился, и все пассажиры во главе с машинистом и проводниками кинулись к стоявшим поодаль арбам с бочками. Мы двинулись в путь захмелевшие и веселые: в Грузии свободно торговали вином, бутылка которого стоила не больше, чем кусок лаваша. Солнце, веселый поезд, веселый паровоз, веселые под хмельком люди – все это удивительно не походило на хмурую, грязную Москву, где горсточка муки с Украины казалась чудом, а мальчишки на улицах торговали «Ирой рассыпной» и мы получали каждую папироску прямо из их замерзших, красных лапок. Мы мотались по Грузии на птичьих правах, чужие и непонятные люди, сбежавшие из нищеты в богатую и равнодушную страну. Так, должно быть, чувствовали себя беженцы из «Совдепии» в пышном Константинополе. В те дни я узнала, как горек чужой хлеб. Изредка Канделаки, министр просвещения, впрочем, они еще тогда были комиссарами, выписывал грошовую подачку за переводы, но на нее накладывал вето аскет Брехничев, русский уполномоченный при широком и щедром грузине. Про Брехничева говорили, что он расстрига, и не позволяли ему зажимать «своих». От шуточных стихов тех дней у меня осталась строчка: «У него Брехничев вместо цепной собаки», а от предыдущей только рифма – Канделаки...

Мандельштам не унывал, мы пили телиани, где-то жили, с кем-то разговаривали. Однажды мы попытались уехать и получили места в чистой теплушке. Предстояло ехать недельки две-три. Теплушечные поезда простаивали подолгу на узловых станциях и «мазали» мылом начальника, чтобы он дал паровоз. На станциях шел торг и обмен – мы и рассчитывали прокормиться обменом последнего барахла, но до этого надо было дотянуться до России. Богатая Грузия в нашем барахле не нуждалась. Уже закрыли двери теплушки, и поезд двинулся. Теплушка вдруг преобразилась – в центре возник стол из чемоданов, на нем тряпка вместо скатерти, роскошная снедь и вино. Меня, единственную женщину, усадили на почетное место. Начался пир, но на первой же станции оказалось, что поезд пошел, а наша теплушка стоит. Мы не заметили, как ее отцепили. Грузины кинулись к дверям, но открыть их не смогли. Еще минута, и двери раздвинулись. В вагон вошло несколько вооруженных людей во главе со штатским, низкорослым и широкоплечим человеком с лицом скопца. На нем были огромные очки, и в довершение всего он еще показался мне слепым. Скопческим высоким голосом штатский объявил, что он представляет Чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией. Начался обыск, но нашим имуществом никто не интересовался. Веселые грузины оказались зубными техниками. Они везли в Москву чемоданы лекарств и материалов для протезов. Искали у них и золото. Тем временем вагон двинулся – обратно на Тифлис. Грузин увели под стражей, а нас отпустили на все четыре стороны. Я впервые присутствовала при аресте. До этого мне пришлось видеть только бесчисленные обыски. У веселых и гостеприимных грузин, чей пир так мрачно оборвался, были смертельно бледные лица. Мне так хотелось, чтобы они откупились от мрачного скопца и снова вылетели на волю... Я еще не раз видела, как по поездам шастают продотряды и отбирают у баб мешки... Это называлось «борьбой с мешочничеством».

Мы снова застряли в Тифлисе, ловчились, пили телиани и ели каймак, брынзу и лаваш. Однажды на базаре нас остановила мощная процессия «шахсе-вахсе». Она была последней, потому что на следующий год ее запретили – и навсегда. Под равномерные звуки восточных барабанов шли полуголые люди, ритмически хлеставшие себя кожаными плетками. Они держались стройными прямоугольниками. За ними в том же порядке – люди с кинжалами с более сложными ритмическими движениями. Один к одному, совершенно точно и одновременно они

поднимали то правую, то левую ногу и наносили себе удар кинжалом все в одно и то же место. Это было бы похоже на балет, если бы не струйки крови, сочившейся из ран. Шли верблюды, ослы и кони в прекрасных пополах. На них ехали женщины и дети – семейство брата Магомета, в память убийства которого разыгрывался весь спектакль. На большом коне провезли голубя, а на другом верхом ехал странно качавшийся всадник. В спину у него был воткнут кинжал, и на белой одежде сверкала свежая кровь. Толпа зрителей то и дело шарахалась от страха, и мы тоже вместе с толпой. Я хотела бежать, но Мандельштам меня удерживал и заставил достоять до конца бесконечной процессии. Все участники выкрикали хором два каких-то коротеньких слова, и эти выкрики служили единственным регулятором ритма всего сложнейшего и кровавого балета. Говорят, что в прежние годы европейца, случайно оказавшегося в толпе зрителей, мусульмане бы немедленно растерзали. Процессия направлялась к холму под самым городом. Там тоже происходили какие-то ритуальные действия, но туда сунуться мы не решились. На следующий день все торговцы на базаре ходили в марлевых перевязках. И хозяин в чайной, где мы всегда пили поразительный персидский чай в маленьких стаканчиках, тоже был весь забинтован. Я не знаю, шииты или сунниты придерживаются «шахсе-вахсе» и что значат выкликаемые два слова (быть может, они и есть: шах-се вах-се), но понимаю, почему Армения «со стыдом и скорбью» отвернулась «от городов бородатых Востока»... И все же, как ни жестоко зрелище самоистязания и проливаемой крови, жертв среди участников процессии не бывает – только царапины, ранки и шрамы да еще ложка пролитой крови, а потом бинты и марля. Больше ничего. Европейцы, случается, действуют покрепче...

На какой-то короткий период мы сблизились с посольством РСФСР в Грузии. Послом был Легран, гимназический товарищ Гумилева. Он назначил Мандельштама в штат посольства, и нам ежедневно выдавали два обеда по типу московских пайковых столовых. Мы приходили в посольство, болтали со скучающими Легранами, а затем уносили посольские судки с обедом и пачку газет, из которых Мандельштаму полагалось по долгу службы делать вырезки. Посольству хотелось иметь референта, но и посольство, и референт, и обеды были не настоящими, а липовыми, газеты же приходили с севера и из-за границы со скоростью черепахи. Легран раздобывал новости не из газет, а в Цека (или это называлось тогда Закрайком? названия у нас непрерывно меняются), имевшем с Москвой либо телефонную связь, либо тысячу курьеров.

Однажды Легран, обычно равнодушный и сдержанный, выскочил к нам навстречу из кабинета и увел нас к себе в квартиру. Там он рассказал о расстреле Гумилева. Он не на шутку испугался, хотя говорил искусственно дипломатическим голосом. Я не знаю, удалось ли ему сделать карьеру почище советского посла в Грузии, потому что это была наша последняя встреча. В разговор вмешалась жена Леграна, приятная и приветливая женщина. Она поспешно сказала, что ей никогда не нравился Гумилев – заносчивый, резкий, непонятный, чужой и чуждый человек. Жена Леграна оказалась первооткрывательницей и пионеркой: в те ранние годы еще не научились с ходу отрекаться от погибших, обвиняя их в дурном характере и чуждой настроенности – и притом совершенно искренно (в этом весь фокус). Потом только так и поступали с завидной прямоотой и честностью. Рассказы честных советских людей о Мандельштаме отражают те умонастроения: легенда, пущенная про него, живет и поныне и облегчает души свидетелей расправы. Почему, в самом деле, нельзя было прикончить этого нелепого и надменного чудака? Легковеры обследуют легенды, но даже они изредка качают головой и удивляются, каким образом согласуются странные черты характера, описанные современниками, со свободным потоком стихов этого диковинного человека... То, что сейчас было бы понято как внутренняя свобода, глубина, независимость и прямота, тогда воспринималось (совершенно искренно) как петушиная дурь... Жена Леграна была предельно искренней, но впечатление от первого выпада против расстрелянного оказалось таким сильным, что нам не захотелось возвращаться в посольство за обедом и газетами. Мы ушли с судками, но в посоль-

ство больше не заглядывали. Вскоре к нам явился солдат, рассыльный посольства, и забрал посольскую жестяную посуду. На этом отношения с Легранами кончились.

– Куда же теперь ехать? – сказал Мандельштам. – В Петербург я не вернусь.

Смерть Гумилева – без отпевания у Исаакия – окончательно превратила Петербург в город мертвых. Об этом есть поздние стихи: «Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса». Мандельштам ни за что не хотел ехать на север, потому что родной город для него закрылся. С гибелью Гумилева рухнуло «мы», кончилось содружество.

Ехать было некуда, но мы все же уехали, потому что не существовало места, где мы могли бы остаться. Новый, 1922 год мы встретили на рейде в Сухуме. Наш пароход назывался «Дмитрий», и нас везла без билетов комиссарша, бывшая пароходная нянька, добродушная, ширококостная женщина, отлично справлявшаяся с беснующейся оравой демобилизованных красноармейцев. Перепившись, они требовали у комиссарши отчета, почему портрет лейтенанта Шмидта висит у нее в каюте выше Ленина и кто эти двое, которых она уложила на тюфяке у своих дверей и прячет от контроля. Она нас и не думала прятать, а просто заслоняла своей могучей спиной и говорила совершенно беспомощным контролерам, что «эти» с ней и «этих» трогать не надо. И они нас «не трогали», как и прочую толпу безбилетных пассажиров.

На этом пароходе я видела, как бьются в припадках травматической падучей, нажитой при холодном ранении, полупьяные, полубезумные солдаты, жертвы гражданской войны (отец и сын у Шекспира, сын и отец у Шекспира!). Война еще шла, и демобилизация коснулась только больных, то есть инвалидов, но настоящих инвалидов – безногих, безруких – на пароходе почти не было. Таких вывозили поездами, а на пароход хлынула свободно передвигавшаяся бурлящая толпа, уже по разным причинам не годная для армии и тут же по возвращении разворачивавшая широкую деятельность в родных деревнях и городишках. Ведь в армии они получали политическое образование от комиссаров и начальников и «на местах» стали предвозвестниками «нового» и чем-то вроде светочей. Инвалид в «Котловане» не случайная фигура, выдуманная досужим писателем, а ведущее начало провинциальной жизни. Многие из них плохо кончили, потому что привыкли разрешать все недоразумения рукопашной схваткой. Другие, когда приток свежих сил отеснил их от «власти на местах», подняли крик, прогремевший на всю страну: «За что боролись?»

Толпа на пароходе делилась на маленькие группы, и в центре каждой стоял добровольный агитатор. Иногда центром такого средоточья оказывался припадочный. Он падал наземь, судороги сводили тело, голова запрокидывалась, и он то выгибался дугой, то бился о деревянный настил. Но голос не терял силы: припадочный воспроизводил сцену ранения – давал команды, бросался в бой, выкликал лозунги, проклинал «белых гадов», кричал, что не пощадит родного отца... Четыре товарища придерживали его, чтобы он не разбил голову, пятый пытался – обычно безуспешно – сунуть ему в рот ложку, потому что среди брани у него то и дело вываливался язык и вместо слов раздавались одни хриплые стоны. Под конец разносился густой мат: припадочный крыл подбежавшую к нему среди боя «сестрицу». Окружающие с облегчением вздыхали: раз дошло до сестры, значит, припадок кончается. И действительно, корчи ослабевали, припадочный, успокоившись, засыпал. Его оставляли в покое, но где-нибудь, в другой части парохода, уже валился наземь и начинал биться и вопить другой безумец... Они бились в приступах падучей, как вся страна, изошедшая кровью и бранью в годы гражданской войны. В таких войнах, по-моему, не бывает победителей и побежденных, потому что победитель, не выдержав ненависти и обуявшей его братоубийственной злобы, исходит кровью и бьется в падучей. Сколько раз это было уже сказано? Почему никто ничего не слышит и не читает? Почему все слова уходят в прорву и все предупреждения никого ни от чего не предостерегли?... Большеглазый мальчик Мандельштам – я тогда еще не знала, как он молод, потому что он был старше меня, – все видел и слышал. Он иногда говорил: «Надюша, не слушай, Надюша, не смотри», а иногда: «Господи, посмотри, послушай, что с ними...» Иногда он говорил: «Все это

пройдет», но чаще: «Ведь все они, припадочные и здоровые, говорят одно и то же, ничем друг от друга не отличаются...» Так и было. Все они говорили, словно в припадке падучей, одно и то же, но это оказалось далеко не самым страшным из того, что мне суждено было увидеть – с Мандельштамом, его глазами, и потом – без него, собственными глазами, которые он научил видеть и воспринимать виденное.

Мы высадились в Новороссийске под безумный вой оголтелого норд-оста. Ветер сбивал с ног. Мы дрожали от холода после прелестной теплицы, где провели полгода, то изнемогая от жары, то шлепая по покрытым ледяной пленкой лужам элегантными деревянными сандалями. Мы не боялись холода, потому что вдруг перестали чувствовать себя эмигрантами.

Я часто слышу жалобы и стоны бывших эмигрантов, которых никто не убивал и не уводил по ночам в невероятные тюрьмы двадцатого века, но я не затыкаю ушей, потому что узнала, как горек эмигрантский хлеб на чужбине. Узнала я это в Грузии. У моих современников был выбор – чужой хлеб на чужбине или собственное смертное причастие. Ни одна из этих возможностей не является «меньшим злом». Зло меньшим или большим не бывает, потому что оно есть зло. Только в России все же говорят по-русски, а это великое благо. Не случайно в статье, написанной по пути в Москву, Мандельштам написал дифирамб русскому языку, который был для него родным. Он вернулся в края, где говорят по-русски, и остро почувствовал власть родного языка.

К несчастью, все мы узнали ту степень разъединения, когда людей, говорящих на одном языке, нельзя объединить словом «мы». Есть степень разъединенности, когда люди уже не могут понять друг друга. Больше у Мандельштама не было «мы». Даже говоря о нас двоих, он употреблял не «мы», а «мы с тобой»: «Мы с тобой на кухне посидим» и «Куда как страшно нам с тобой»... Равноправное «мы» – союз «мужей», куда входила одна женщина, распался с гибелью Гумилева, и с ним остался только непрекращающийся воображаемый разговор.

Мы ехали на север, но не в Петербург, а в Москву.

В пути

В Новороссийске мы переночевали на столах в редакции газеты и двинулись дальше. В те годы всюду были мальчишки, которые знали Мандельштама и готовы были устроить ему ночевку, билеты и каплю денег. Такие нашлись и в новороссийской газетке. Около месяца мы прожили в Ростове, где Мандельштам напечатал несколько статей в местной газете. В феврале мы сели в отдельный салон-вагон, предоставленный хирургу, профессору Тринклеру (его вызвали из Харькова, чтобы сделать операцию кому-то из начальников), и вскоре дотянулись до Харькова. Салон-вагон – знак высокого положения в мире, и потому его прицепляют к поездам в первую очередь, не то что поганую теплушку. В Харькове был перевалочный пункт, откуда южные толпы рвались в Москву.

Там Мандельштама встретили люди, бредившие стихами. Все они были на отлете и собирались в Москву с литературными заявками. Гражданская война выхлестнула наверх особый слой разговаривающих и пишущих людей, которым не терпелось рассказать о том, что они видели. К обобщениям не стремился никто. Смысл событий ускользал. Все жили конкретным случаем, живописной, вернее, забавной подробностью, явлением, пеной с ее причудливым узором... Забавный и живописный оборванец, Валя Катаев, предложил мне пари: кто скорее – я или он – завоюет Москву. От пари я отказалась, потому что Москву завоевывать не хотела и ни к какой деятельности не стремилась, разве что написать дюжину натюрмортов. У меня уже тогда было полное равнодушие к «паблисити» и деятельности, я думаю, под влиянием Мандельштама. У него было четкое ощущение поэзии как частного дела, и в этом секрет его силы: перед собой и для себя звучит только основное и глубинное. Хорошо, если оно окажется нужным людям. А это зависит от того, кто говорящий и какова его глубина. Мандельштам сам не знал, кто он и какова его глубина, и по этому поводу не задумывался. Он не стыдился ни себя, ни своих мыслей, ни того, что ему было отпущено. Кто выдумал, что он олицетворил себя в строчках: «Чудак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет»? Мандельштам не «самолюбивый, скромный пешеход», он для этого слишком любил ходить пешком и любоваться миром, куда входили и машины. Это Парнок самоутверждается и робок, как горный козел. Если в Мандельштаме была крохотная крупинка Парнока, то она исчезла в такой ранней юности, когда он еще не подозревал, что такое «мы». Такое могло быть в период жизни за границей сразу после школы, на одну минутку, а потом вспомнилось и улыбнулось. Но не могло быть и секунды, чтобы этот человек сказал про себя, что он «судьбу клянет». Мы с ним попадали в разные переделки и в страшные катастрофы. Случалось, что я не только кляла, но проклинала обстоятельства, жизнь, что угодно. Но это была я, а не он. От него ничего подобного я никогда не слышала. Это не он. Он – оборванный или хорошо одетый, с деньгами или нищий, возмущенный чем-нибудь или радостный, в минуты дикой ревности или полного согласия, шумный или тихий, пишущий стихи или молчащий – никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы клясть судьбу. Он принимал жизнь, какая она есть, отвергал все виды теодицеи, а уж бедности бы никак не стыдился, потому что чувствовал себя богачом: «У кого под перчаткой не хватит тепла, чтоб объехать всю курву Москву?» Мы ведь только и делали, что пировали. Даже банка консервов или пшенная каша на нашем столе, доске или чемодане воспринимались как пир. И право же, судьба Алексея казалась ему куда более завидной, чем любого банкира, чиновника или советского спеца, тем более литературного...

В Харькове пришли первые литературные заработки, гораздо более ощутительные, чем в Ростове, потому что открылась не только газета, но и издательство, нищее, как вся страна. Издательство замышлялось сестрой Раковского. Худая темноволосая женщина, похожая на монахиню и запомнившаяся мне силуэтом, словно в ней не было объема, она собиралась открыть издательство, и Мандельштам написал для нее статью «О природе слова» и первую

прозу – очерк под названием «Шуба», часть которого появилась в местной газете. Газета с этим очерком пропала, как и весь архив Раковской. Статью напечатали после нашего отъезда и прислали оттиск. Его забрали из сундучка в мае 34 года, но кое у кого он сохранился. Эпиграф к статье прибавили харьковские издатели. Первоначально его не было. Пусть уж он останется в память о дружбе двух поэтов.

Когда я увидела Раковскую, у меня было острое чувство удивления: каким образом такая женщина «с ними». В годы великой путаницы понятий «такая женщина» могла быть с кем угодно и где угодно, да и неизвестно, чем она была на самом деле. Судить по внешности нельзя. Думаю, что она разделила общую судьбу, и допускаю, что приняла ее за монахиню по неопытности и незнанию людей. Все же хочется думать, что аскетический силуэт дается не зря. Возможно, что все это только сдвиг памяти или, как тогда сказал Мандельштам, непривычный римско-румынский типаж, европейский облик, в странной дисгармонии с ширококостными и славными няньками-комиссаршами. Я знаю одно: в обезумевшей толпе тех лет все же мелькали одухотворенные лица. Вероятно, у толпы (именно у толпы, а не у вожаков) была какая-то работа.

В Харькове нам рассказывали про новинки, уже ставшие достоянием широкого круга. До России дошли задержавшиеся из-за войны слухи о теории относительности и о Фрейте. О них говорили все, но сведенья были уж слишком смутными и бесформенными. Более конкретными оказались рассказы о писателях, уже успевших подать свои заявки. Тогда гремел Пильняк – это был его день. Всех волновала новая тема. В Грузии мы отвыкли разговаривать с людьми, потому что там шел свой разговор между своими, в число которых мы не попали и попасть не могли. В Харькове нас поразило, что никто не разговаривает. Разговор оборвался – и навсегда. Зато появилась масса рассказчиков, и они наперебой выкладывали свои анекдоты.

У нас была кое-какая одежонка. Центросоюз в Батуме вышел в меценаты и за лекцию о Блоке выдал Мандельштаму материю на костюм и на два платья для меня. Мандельштам в 34 году (конец апреля) вспомнил, как мы «над лимонной Курюю в ущелье балконном шили платье у тихой портнихи...». В мае рукопись отобрали, и она пропала. Восстановить стихотворение нам не удалось – оно было слишком свежим. Шуба, послужившая толчком к очерку, енотовая, плешивая, была куплена на базаре. Морозы в тот год стояли жестокие, и мы остро их чувствовали после юга.

Мандельштам заметил, что у всех возникла новая нота: люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда сильной власти обуяла слои нашей страны. Говорить, что пора обуздать народ, еще стеснялись, но это желание выступало в каждом высказывании. Проскальзывала формула: «Пора без дураков...» Нарастали презрение и ненависть ко всем видам демократии и, главное, к тем, кто «драпанул». Огромным успехом пользовалась легенда о том, что Керенский бежал в женском платье. Назрели предпосылки для первоклассной диктатуры – без всякой тени апелляции к массам. Уже стало ясно, кто победители, а им всегда – почет и уважение. Старшие поколения, еще демократичные, вызывали грубые насмешки молодых. Года через два я шла с Мандельштамом по мосту через Неву, и он показал мне старика в рубище, еле передвигавшего ноги. Это был известный историк¹, и подростком я читала его толстые томы. Исторические концепции этого историка были наивны и отличались умеренностью. Такие погибали в первую очередь. О его смерти никто не узнал – он умер где-нибудь на больничной койке или в нетопленной комнате. Он был интеллигентом, а для рвущихся наверх тридцатилетних самым презрительным словом стало «интеллигент». Мы услышали его еще в Харькове от живчиков, стремившихся со своими заявками в Москву...

Из Харькова мы выехали в Киев, вероятно, в самом начале марта. Еще стояли морозы и путался старый и новый стиль. Ехали мы в так называемом «штабном» вагоне, куда прода-

¹ Кареев. – Примеч. Н.Я. Мандельштам.

вали билеты командировочным высокой марки. Нам их выдали по благу писательских организаций, тогда еще находившихся в зачатке, но уже проявлявших недюжинную ловкость. С нами в купе ехали, быть может, хозяйственники или работники партийного аппарата, во всяком случае люди нового типа. На них были целые и добротные сапоги и кожанки. Наши спутники не пили, не нюхали кокаин, чрезвычайно распространенный в первые годы революции, и почти не разговаривали ни с нами, ни между собой. Единственное, что они себе позволяли, – это пошучивать со мной. Я лежала на верхней полке, и все они казались мне телеграфистами, и двое, занимавших нижние полки, и те, кто к ним заходил из соседних купе. Меня же они принимали за барыньку. Как только Мандельштам выходил из купе, они вскакивали и говорили, что таких, как я, надо за косу, и советовали учиться писать на машинке. В этом-то и состояли их шутки. Меня они не смешили, и было странное чувство, что в этом штабном вагоне уже сгущается новый и непонятный мир. Они соскучились по женщинам на войне, а собственных секретарш еще не заполучили, потому и крутились передо мной. Мандельштам с любопытством присматривался к ним. Он сразу заметил, что они не разговаривают и только время от времени цитируют статью или газету. «Им не о чем говорить», – сказал он и пробовал догадаться, кто они. Среди них могли быть организаторы всех отраслей хозяйства и административной жизни, включая органы порядка, но понять, кто чем занимается, мы не могли. Все они были выкроены на один образец.

С этим слоем мы почти никогда не сталкивались, и поэтому оба запомнили единственную встречу с типовыми организаторами новой жизни. Их бессловесность нас настораживала и пугала, потому что она появилась в результате особой дисциплины нового типа. Из таких людей создавался аппарат, победивший или презревший человеческие слабости и безукоризненно действующий по инструкциям независимо от их содержания.

Аппарат выдержал испытание временем и существует по нынешний день, хотя винтики неоднократно заменялись более усовершенствованными, а старые пропадали без вести, обернувшись лагерной или провинциальной пылью.

У нас была игра – входить в новый город. Мы входили в Москву, в Ростов, в Баку, в Батум и в Тифлис, а на обратном пути – в Новороссийск, в Ростов и в Харьков. Мы всю жизнь входили в другие города, и без Мандельштама я продолжала это занятие, но оно перестало быть игрой. В те ранние годы поезда иногда останавливались на вокзалах, но чаще их задерживали черт знает где. Тогда вещи взваливались на плечи, и мы вступали в город по проселочным дорогам или по шоссе и по улицам. Первая улица уже вызвала вздох облегчения. Иногда попадался извозчик или телега, но это было редкой удачей. Я вижу вокзальную площадь холодного Киева, но не помню, как мы добрались до родительского дома. Может, уже изредка ходили трамваи. Только слышу стук в дверь и как она открылась. Родители встретили нас, будто мы явились с того света. Уехать значило кануть в вечность. Ни одно письмо, ни одна весточка не дошли до них. Из Москвы, где жил мой брат, письма изредка доходили. К этому времени отъезд в Москву уже не отрывал уехавших от тех, кто остался на месте.

Киев оказался самым чужим городом, таким же иностранным, как Грузия. Украина обособлялась от русского языка с удвоенной силой, потому что, близкородственный, он всем понятен, как и украинский. Потом я нашла точный критерий, по которому научилась отличать украинцев от русских. Я спрашивала: где ваша столица – Киев или Москва?.. Всюду – по всей громадной территории страны слышны отзвуки южнорусской и украинской речи, но называют своей столицей Киев только настоящие, щирые украинцы с неповторимо широким «и» и с особой хитринкой. То, в чем Мандельштам слышал отзвук древнерусской речи, для них – родной, отдельный, резко отличный от русского язык. Для меня всегда было загадкой, почему этот волевой, энергичный, во многом жестокий народ, вольнолюбивый, музыкальный, своеобразный и дружный, не создал своей государственности, в то время как добрый, рассеянный на огромных пространствах, по-своему антисоциальный русский народ выработал невероятные и дей-

ственные формы государственности, всегда по сути своей одинаковые – от московской Руси до нынешнего дня. (Суть в полной оторванности правителей и народа, при которой одни делают что им вздумается, а другие терпят и слегка ворчат.) Нельзя объяснить это одним географическим положением Украины – между Польшей и Россией. Я привыкла верить Ключевскому, что разгром татарами Киевской Руси, развивавшейся как блистательное европейское государство с Мономахом и Ярославом Мудрым, с киевской Софией и дивным городом на высоком берегу Днепра, был горчайшим поворотным пунктом русской истории. Мандельштам об этом не думал. Он просто любил пестрый и живой город на Днепре, чтит Ключевского, читал «Завещание» и «Русскую правду» и никогда не перечитывал «Полтаву». Своих мыслей без него я не додумывала и так и осталась со своим удивлением. Но все же я рада, что моя столица не Киев, а Москва: ведь мой родной язык – русский. И если там и здесь будут открыто резать жидов, я предпочитаю, чтобы это случилось со мной в Москве. В московской толпе обязательно найдется сердобольная баба, которая попырбует остановить погромщиков привычным и ласковым матом: эту не троньте, так вас и так, сукины дети. Под российский мат и умирать-то приятнее.

Из Киева мы поехали в Москву. Чтобы попасть в какой-то особый, но уже не штабной вагон, нам пришлось сбегать в загс. Бумажку о браке мы потеряли моментально, чуть успев доехать до Москвы. Я даже не уверена, что в загс мы пошли в этот приезд. Как будто это случилось позже и произошло потому, что комендант будущего поезда сказал, что ему надоело возить с собой баб, которые жены на недельку в поезде и баста: «Без удостоверения не повезу». Значения регистрации брака мы не придавали никакого, да и не стоил этот акт ничего. А в самом деле – в загсе мы были весной, а в тот год уезжали из Киева в холодные, лютые дни, и с нами поехал в Москву мой отец. В загс же с нами ходил Бенедикт Лившиц. Один раз мы явились слишком поздно – барышня уже собирала манатки и красила губы, готовясь смотреться. Бен со свойственным ему дурацким остроумием, которое он в душе считал раблезианским, уговаривал барышню повременить и совершить «бракосочетание», потому что «молодым не терпится». Она посмотрела на нас опытным, холодным взглядом и сказала: «знаем мы» и «подождут до завтра»... Лишь на следующий день мы получили бумажку для коменданта поезда, а в середине пятидесятих годов я через суд была оформлена в законные жены. Людям моего поколения суд давал это постановление в один миг: все либо забыли «оформиться», либо потеряли бумажку. Она не была нужна ни на что...

В конце марта (по какому стилю?) мы очутились в Москве. О Петербурге не было и речи. Мандельштам не поехал туда, даже чтобы повидать отца. У него не было сил возвращаться в «мрак небытия». Мы осели в Москве – чужом и чуждом для него городе. Ведь он уже успел сказать: «Все чуждо нам в столице непотребной». (Думаю, что здесь «мы» – петербуржцы.) Там ему было легче начинать новую жизнь, чем в родном, но опустошенном Петербурге. Если Москва тоже была опустошена – и в огромной степени, то все же не так, как Петербург. И заметно опустошение было гораздо меньше: город непрерывно пополнялся новыми толпами. Москва росла не по дням, а по часам, но не вверх – домами и пристройками – ничего не строилось, только ветшало и разваливалось, а людьми, со всех краев земли стремившимися в Москву. Кое-как налаживался городской транспорт, но еще по огромному городу ходили главным образом пешком да еще ездили на «ваньках». Извозчики стоили непомерно дорого, и мы уже не имели благодетеля, которому могли бы сдавать извозчицьи расписки.

Настоящие москвичи растворялись в огромных чужих толпах. Они стали маленькой горсточкой в новом городе. Скрипучий московский говор почти не слышался. Мы обрадовались однажды, услышав в москательной лавке, куда мы зашли узнать, как найти какую-то улицу, отличный совет: выйти «на площадь», а потом свернуть и пойти, куда следует. Дворники еще помнили исконную речь, но нигде и никогда ни один из них не говорил на том языке, которым его заставил говорить Пастернак в своем романе. Такого языка не существовало, как и сказов сибирской просвирни... Сам Пастернак говорил на чудесном языке, но чисто пастернаковском

– он пел, мычал, шумел и гремел... Он был москвичом и с детства собирал «грибы». Еврейские дети, выросшие в Москве, особенно остро воспринимали городской говор, но у Пастернака действовала еще врожденная музыкальность, превращавшая его речь в оркестр. Мандельштам мне говорил, что Ахматова «работает одним голосом», то есть непрерывно вслушивается в него. Это верно и по отношению к Пастернаку, отчасти и к Мандельштаму, который слышал и голос, и звучащие в уме звуки.

Мы не были москвичами, а только пришельцами, и с трудом осваивали чужой город, еще голодный, еще пайковый, еще дикий и наводненный безмерными людскими разноголосыми толпами. И все же мы чувствовали себя дома и привыкали к непотребной и шумной столице с молодой легкостью...

Чад небытия

В Москве мы останавливались, в Москву приезжали, в Москве жили, в Петербург только «возвращались». Это был родной город Мандельштама – любимый, насквозь знакомый, но из которого нельзя не бежать. «Городолюбие, городострастие, городоненавистничество», названные в «Разговоре о Данте», – это чувство, испытанное Мандельштамом на собственном опыте. Петербург – постоянная тема Мандельштама. О нем «Шум времени», «Египетская марка», много стихов из «Камня», почти все «Тристии» и несколько стихотворений тридцатых годов. В строчках «И каналов узкие пеналы подо льдом еще черней» – почти ностальгическая боль. И Петербургу Мандельштам завещал свою тень: «Так гранит зернистый тот тень моя грызет очами, видит ночью ряд колод, днем казавшихся домами...» От Петербурга Мандельштам искал спасения на юге, но снова возвращался и снова бежал. Петербург – боль Мандельштама, его стихи и его немота. Кто выдумал, что это я не любила Петербурга и рвалась в Москву, потому что там жил мой любимый брат?.. Сентиментальная версия нашей жизни... Я никогда не имела на Мандельштама ни малейшего влияния, и он скорее бросил бы меня, чем свой город. Бросил он его задолго до меня, а потом повторно бросал и дал точное объяснение: «В Петербурге жить – словно спать в гробу...» Хотела б я знать, при чем здесь мой брат, с которым я действительно всегда дружила... В «буддийской Москве», в «непотребной столице» Мандельштам жил охотно и даже научился находить в ней прелесть – в ее раскинутости, разбросанности, буддийской остановленности, тысячелетней внеисторичности и даже в том, что она не переставала грозить ему из-за угла. Жить под наведенным дулом гораздо легче, чем в некрополе с его пришлым, много раз сменявшимся населением, всегда мертвым, но равномерно двигающимся по улицам, и, наконец, самым страшным в стране террором, остекленившим и так мертвые глаза горожан. В Петербурге Мандельштам не дожил бы до тридцать восьмого года. Он только тем и спасся, что «убежал к nereидам на Черное море». Впрочем, черноморские nereиды так же плохо спасали людей, как и балтийские. Спасала только случайность.

Мандельштам рано почувствовал конец Петербурга и всего петербургского периода русской истории. Во время июльской демонстрации он служил в «Союзе городов» и вышел со своими сослуживцами на балкон. Он говорил им о конце культуры и о том, как организована партия, устроившая демонстрацию («перевернутая церковь» или нечто близкое к этому). Он заметил, что «сослуживцы» слушают его неприязненно, и лишь потом узнал, что оба они – цекисты и лишь до поры до времени отсиживаются в «Союзе городов», выжидая, пока пробьет их час. Он называл мне их имена. Один, кажется, был Зиновьев, другой – Каменев. Балконный разговор «по душам» навсегда определил отношение «сослуживцев» к Мандельштаму, особенно Зиновьева. Мы это остро чувствовали, когда жили в середине двадцатых годов в Ленинграде. Непрерывная слезка и раннее запрещение печататься (1923) были естественным следствием общего положения Мандельштама, но в Ленинграде все оборачивалось острее и откровеннее, чем в Москве. У меня ощущение, что Москва имела кучу дел на руках, а Ленинград, от дел отставленный, только и делал, что занимался изучением человеческих душ, которые предназначались для уничтожения. Еще неизвестно, уцелел ли бы Мандельштам, если бы к моменту послекронштадтского террора находился в Ленинграде. Террор развернулся во всю силу, и Москва еще давила на Ленинград, обвиняя местные власти в том, что они не дают воли рабочему классу излить свой гнев.

В этом-то разгуле и погиб Гумилев. Два слова о «юноше из морской семьи», который приезжал в 21 году к Гумилеву. Он был послан адмиралом Нимецом пригласить Гумилева в поездку в Крым – отдохнуть и подкормиться. Ходасевич наивно считал, что он был специально подослан к Гумилеву. Надо уметь отличать подосланных стукачей, и это своеобразное советское искусство, которым Ходасевич не успел овладеть, предпочитая всюду и везде видеть

сети и капканы. Таков советский обычай, но он только ослабляет людей, которым следовало бы быть всегда начеку. Ни в каких особых сетях и капканах у нас не нуждались – при терроре не требуется серьезной мотивировки, чтобы уничтожить человека. «Оформить дело» легче легкого, пора это понять. Вокруг поэта всегда много мелкой швали, чтобы из нее выжать любое показание, и никто не стал бы тратить на командировочные, засылая человека из столицы. Фамилия юноши была Павлов. Ничего хорошего про него сказать не могу. Думаю, что под давлением он подписал бы что угодно для спасения своей шкуры. (Он тоже был арестован, но вышел невредимым.) Но есть чисто бюрократическая загвоздка, снимающая предположения Ходасевича. Адмирал Немец сам взял к себе Павлова, чтобы спасти юношу из «хорошей семьи». Павлова могли использовать для слежки за его покровителем Немецом, иначе говоря, дать ему поручение первостатейной важности. Совершенно исключается, чтобы столь ценному агенту дали дополнительное задание по уничтожению Гумилева. Такого рода «совместительство» немыслимо. Отделы карательных органов использовали своих агентов по назначению, а не как попало. Для уничтожения поэта взяли бы поэтишку, а не военного специалиста. Оцуп, бывший в курсе дела Гумилева, ходивший к Горькому и разузнавший все, что до нас дошло, не подозревал Павлова ни в чем. Он не прерывал с ним сношений и перед своим отъездом – в последний раз, когда был в Москве, останавливался у Павлова, куда мы зашли с ним прощаться.

Оцуп воспринял гибель своего учителя как личную трагедию. Я не допускаю мысли, чтобы он поддерживал отношения с человеком, которого бы считал виновником происшедшего. Среди легенд, создавшихся о смерти Гумилева, ходят разные высказывания Горького, сочиненные неизвестно кем. Одно из них про Павлова – будто его показания легли в основу приговора. Вполне допускаю, что так и было, хотя далеко в этом не уверена. Это вовсе не значит, что Павлов был подослан, а только то, что его между прочим использовали для «оформления дела». Роль Мандельштама в этом деле проста: он узнал, что в Ленинград едет от Немеца человек приглашать Гумилева в Крым, и попросил раздобыть и для него билет в штабной вагон. Павлов исполнил просьбу, и Мандельштам съездил в Петербург проститься с отцом перед «экспедицией» на Кавказ. Ходасевич – человек старой школы. Он верил в необходимость провокации для уничтожения человека. Кроме того, он отдал дань современному стилю и в каждом встречном подозревал провокатора. Вспомните Зенкевича, который подозревал стукача в том же человеке, который подозревал его в стукачестве, причем оба не заметили настоящих стукачей, отлично видных и мне, и Мандельштаму. Мерзко смотреть на болезнь, которой охвачены огромные толпы, включая самих стукачей. Они-то болеют самыми тяжелыми формами этой болезни, поэтому их легко узнать по глазам – отчаянным, полным застывшего ужаса. В Петербурге эта болезнь – мания видеть во всех стукачей – достигла самого высокого уровня. Она отравляет жизнь людям и сейчас. Петербург – проклятый город, «сему месту быть пусту».

Ахматова назвала Петербург траурным городом. Траур носят живые по мертвым, а я только один раз видела живые лица в Петербурге – Ленинграде – в многотысячной толпе, хоронившей Ахматову и оцепившей сплошным кольцом церковь Николая Морского. Старухи, для которых церковь – дом, не могли в нее пробиться и справедливо негодовали на людей, никогда не ходивших в церковь и заплонивших все щели по случаю отпевания. Толпа была молодая – студенты сорвали занятия и пришли отдать последний долг последнему поэту. Изредка мелькали современницы Ахматовой в кокетливых петербургских отрепьях. Невская вода сохраняет кожу, и у старушек были нежные призрачные лица. Москвичи выделялись отдельной группой, тяжеловесной и устойчивой. Молодежь не знала, как ведут себя в церкви, и толкалась, пробираясь к гробу. Я стояла рядом с Левой, который впервые за несколько лет увидел мать. Он пытался прорваться к ней в больницу, но его не пустила жена Ардова, Нина Ольшевская. Она при мне приезжала в больницу, чтобы подготовить Ахматову к очередной «невстрече» с сыном.

Нина убеждала Ахматову, что встреча может ее погубить, Ахматова возмущалась, но ничего поделать не могла. Ее энергично охраняли от сына.

Я приехала домой из больницы и застала Леву у своих дверей. Он был сам не свой, плакал, бесился, подробно рассказывал, как идиотка Ольшевская учила его, о чем можно, о чем нельзя говорить с матерью. Она внушала Лева, что в больницу он без ее разрешения (и без нее) не пойдет, для чего она грозилась принять соответствующие меры. Ему предложили ехать в Ленинград и ждать вызова, которого он, разумеется, не получил. От меня Ахматову охраняла внучка Пунина, ангелоподобное создание со злым маленьким личиком. Однажды она подслушала, что мы с Ахматовой говорим о завещании, и ей такой разговор не понравился. Появляясь в Москве, Аня нежно, но твердо просила меня по телефону не заходить, чтобы «не утомлять Акуму». Время от времени Ахматова поднимала крик, и тогда меня спешно призывали в больницу, но старались, чтобы кто-нибудь при нашей встрече присутствовал. Ахматова была стара и беспомощна, и ее окружали претенденты на фантастическое наследство, которое, к счастью, получил сын. Ахматовой удалось обмануть бдительных мелких хищниц и уничтожить вырванное в свое время (когда Лева был в лагере и лишен всех прав) завещание в пользу Ирины Пуниной.

В толпе, хоронившей Ахматову, был еще один по-настоящему осиротевший человек – Иосиф Бродский. Среди друзей «последнего призыва», скрасивших последние годы Ахматовой, он глубже, честнее и бескорыстнее всех относился к ней. Я думаю, что Ахматова переоценила его как поэта – ей до ужаса хотелось, чтобы ниточка поэтической традиции не прервалась. Вдруг она вообразила, что снова, как в молодости, окружена поэтами и опять заваривается то самое, что было в десятых годах. Ей даже мерещилось, что все в нее влюблены, то есть вернулась болезнь ее молодости. В старости, как я убедилась, люди действительно обретают черты, свойственные им в молодые годы (не потому ли, что ослабевают самоконтроль?). Со мной этого как будто еще не произошло. И все же прекрасно, что нашлись мальчишки, искренно любившие безумную, неистовую и блистательную старуху, все зрелые годы прожившую среди чужого племени в чудовищном одиночестве, а на старости обретшую круг друзей, лучшим из которых был Бродский.

Мне случалось слышать, как Иосиф читает стихи. В формировании звука у него деятельное участие принимает нос. Такого я не замечала ни у кого на свете: ноздри втягиваются, раздуваются, устраивают разные выкрутасы, окрашивая носовым призвуком каждый гласный и каждый согласный. Это не человек, а духовой оркестр, но, кроме того, он славный малый, который, боюсь, плохо кончит. Хорош он или плох, нельзя отнять у него, что он поэт. Быть поэтом да еще евреем в нашу эпоху не рекомендуется.

Откуда взялось столько евреев после всех погромов и газовых печей? В толпе, хоронившей Ахматову, их было непропорционально много. В моей молодости я такого не замечала. И русская интеллигенция была блистательна, а сейчас – раз-два и обчелся... Мне говорят, что ее уничтожили. Насколько я знаю, уничтожали всех подряд, и довод не кажется мне убедительным. Евреи и полукровки сегодняшнего дня – это вновь зародившаяся интеллигенция, нередко вышедшая из мрачно-позитивистских семей, где родители и нынче твердят свою окостеневшую чушь. А среди молодых много христиан и религиозно мыслящих людей. Я однажды сказала Ахматовой, что сейчас снова первые века христианства и в этом причина перехода в христианство множества иудеев. Она закивала головой, но меня мой прогноз не устраивает. Все чаще приходит мысль о надвигающемся конце, окончательном и бесповоротном, и я не знаю, чем оправдать такую настроенность – моей собственной надвигающейся смертью или тенью, отбрасываемой будущим на весь еще недавно христианский мир. Лишь бы мне не увидеть еще зрячими земными глазами то, что, быть может, надвигается.

В наши дни предчувствие конца стало уделом огромных масс, и не только потому, что наука блестяще продемонстрировала свои возможности. Мне иногда даже думается, что наука

просто дает рациональное обоснование естественному испугу людей перед делом своих рук. Об этом свидетельствует бесплодный взрыв философского пессимизма, который охватил весь Запад после второй мировой войны. Говорят, он исчерпывается, но у нас, искусственно задержанный, он подтачивает силы и так измученных людей. Но пессимизм, хоть я и назвала его бесплодным, все же лучше, чем чудовищная, слепая и злобная вера в спасителей человечества, от которых нас-то спасает только таинственный закон самоуничтожения зла. Проклятая вера в «ничто» все же еще гнездится в чьих-то незрелых умах, о чем свидетельствуют портреты, которые вывешиваются в некоторых злосчастных западных университетах. Подлым душонкам захотелось погулять на воле: убийство тысячи-другой простых людей подарит каждого из них ощущением силы, которым так любят обзаводиться ничтожные духом. Они твердо знают, что палач всегда сильнее жертвы. Палач даже презирает свою жертву, потому что у нее испуганные глаза и брюки держатся не на ремне, а на честном слове, а потому сползают. Сытая скотина охотно морит голодом свою жертву, потому что голод снижает сопротивляемость. Зато когда по закону самоуничтожения зла бывшие соратники приступают к уничтожению своих, то есть тех самых, которые допрашивали, били, убивали или санкционировали «ради пользы дела» убийство «чужих», вчерашние «свои» вопят от удивления, рвутся доказать свою кристальную чистоту и рассыпаются на куски.

Всюду портреты и чувство надвигающегося конца. Люди ощущают его всеми порами и клетками души и тела. Один философ с неумеренно гениальными прозрениями публично заявил, что эсхатологические настроения – участь погибающих классов. Тот же философ доказал, что классовый подход – самый научный и точный. Остается вопрос: кто же погибающий класс в нашей стране, охваченной острой тоской и мучительным предчувствием конца?

Жилплощадь в надстройке

Мы поселились в Москве, и я никогда не видела Мандельштама таким сосредоточенным, суровым и замкнутым, как в те годы (начало двадцатых годов), когда мы жили «в похабном особняке» в Доме Герцена с видом на «двенадцать освещенных иудиних окон». Сдвиг в стихах произошел еще в Тифлисе. Я услышала новый голос в стихотворении «Умывался ночью на дворе...». Москва же была периодом клятв: обет нищеты, но совсем не ради самой нищеты как испытания духа, дан в «Алексее», и он дополняется тем, что сказано в «Алискансе». Это не просто переводы, и они должны входить в основной текст, как «Сыновья Аймона». В этих вещах – в «фигурной композиции», как сказали бы художники, – Мандельштам выразил себя и свои мысли о нашем будущем. Он хотел напечатать все три вещи в одной из книг 22 года (в госиздатном «Камне» или во «Второй книге»), но воспротивился редактор – или цензура, что одно и то же. У нас ведь не цензура выхолащивает книгу – ей принадлежат лишь последние штрихи, – а редактор, который со всем вниманием вгрызается в текст и перекусывает каждую ниточку. Некоторые крохотные сдвиги произошли лишь в последние годы, но особого значения они не имеют... В «Сыновьях Аймона» личный элемент в жалобе матери: «Дети, вы обнищали, до рубища дошли», в «Алискансе» – боль при виде толпы пленников, щемящее чувство, которое мучит меня уже больше полувека, но ни я, ни «наши дамы» не требовали от мужчин ничего, кроме осторожности. И я еще меньше других, по той простой причине, что к Мандельштаму с советами лезть не стоило – не слушал.

Переводы из Барбье тоже не случайность. В них попытка осмыслить настоящее по аналогии с прошлым: обузданная кобыла, пьянство, а главное – дележ добычи победителями и кость, брошенная к ногам жадной суки. Последнее стихотворение почему-то не попало в трехтомник, хотя редакторы не поленились напечатать всякую поденщину и дрянь, спасавшую от голода, и даже переводы старательного Исаяи Мандельштама. Когда-нибудь соберут и переводы Ахматовой, где не больше десяти строчек, переведенных ею самою, а все остальное сделано с кем попало на половинных началах. Иначе говоря, она получала переводы, что в наших условиях вроде премии или подарка, кто-то переводил, а гонорар делили пополам. Поступала она умно и спасала бедствующих людей, получавших за негритянскую работу не так уж мало – ведь ей платили по высшим расценкам. Глупо, что она уничтожала черновики, по которым можно было бы определить авторов. Многие знают об ее способе переводить, в том числе и Лева, немало сделавший за мать, но вряд ли кто-нибудь об этом скажет, и в сочинениях Ахматовой будет печататься вся переводная мура. Надо пощадить поэтов – переводная кабала страшное дело, и нечего всю дрянь, которую они переперли, печатать в книгах. У Мандельштама серьезная переводная работа только «Гоготур и Апшина» и Барбье. Он с опозданием выполнил совет Анненского и на этих переводах чему-то учился. Сознательно выбраны и тексты Барбье – особенно «Собачья склока». В ней отношение к народной революции и отвращение к победителям, которые пользуются плодами народной победы. Тема для нас актуальная.

Меня же не перестает огорчать, с каким аппетитом Мандельштам поносит в некоторых переводах жен. Кобелек с добычей спешит домой, «где ждет ревнивая, с оттянутой шерстью, горячка-сука муженька», а Гоготур говорит жене: «Что ты мелешь, баба глупая, без понятия, необдуманно... Ты не суй свой нос, безродная, в дело честное, булатное, твое дело веретенное, веретенное, чулочное...» Чуть доходило до ругани с «безродной сукой», язык перевода приобретал свежесть и глубоко личный звук. Ругался он, правда, только в переводах. В стихах на ту же тему о бедняжке Европе, которой хочется удрать от безвесельного гребца хоть на дно морское – «и соскользнуть бы хотелось с шершавых круч», – есть жалость к девочке-женщине, и он понимает, насколько ей «милее уключин скрип, лоном широкая палуба, гурт овец», словом, мирная жизнь с обыкновенным хозяйственным мужем-добытчиком, а не с быком-похи-

тителем, беспутным бродягой, который тащит ее неизвестно куда. И внешне, Мандельштам сказал, я была чем-то похожа на Европу со слабой картинки Серова – скорее всего, удлинённым лицом и диким испугом.

Во мне, конечно, была и девочка-Европа, и потенциально «гордячка-сука», и Мандельштам не щадил сил, обуздывая жажду домостроительства и мечту, чтобы и у нас было, как у всех. По правде сказать, он держал меня в ежовых рукавицах, а я побаивалась его, но виду не показывала и все пыталась не то чтобы соскользнуть, но ускользнуть хоть на часок. Но ничего не выходило даже на минутку... Он понимал меня насквозь и свободно читал в моих мыслях. Да это и несложно: какие мысли у двадцатилетней дурехи!

Я вспоминаю убогие мечты мои и женщин моего поколения: домишко, вернее, комната в коммунальной квартире, кучка червонцев – хоть на неделю вперед, туфельки и хорошие чулки. Женщины, замужние и секретарши, – все мы бредили чулками. Непрочные – из настоящего шелка, чуть прогнившего, – они рвались на второй день, и мы, глотая слезы, учились поднимать петли. А кто из нас не плакал настоящими слезами, когда ломался проклятый каблук, пришедший из совсем другой жизни, на единственных, любимых, ненаглядных, глупых лодочках, созданных, чтобы в них сделать два шага – из особняка в карету... Ведь и в той прежней, устойчивой жизни никаких особняков и карет у нас не было бы. Муж-банкир слишком дорогая плата за благополучие, да и банкиры за свое золото требовали лучшего товара, чем дуры в лодочках. И хоть единственная пара туфель и одна пара чулок, но все же она у нас была, и мы выпендривались как хотели...

Дурень Булгаков – нашел над чем смеяться: бедные нэповские женщины бросились за тряпками, потому что им надоело ходить в обносках, в дивных юбках из отцовских брюк. Да, надоело, и нищета надоела, а сколько усилий требовалось, чтобы помыться в огромном городе, где первым делом уничтожили все ваннные комнаты. Мы мылись, стоя на одной ноге и сунув другую под кран с холодной водой. Если нам попадала в руки тряпка, тут же разыгрывалось необузданное воображение, как бы из нее, вожделенной, сделать нечто прекрасное и годное на все случаи жизни. На гонорар за «Вторую книгу» Мандельштам купил мне голубую лисичку, и все подруги умерли от зависти, но оказалось, что это не шкурка, а клочки шерсти, ловко нашитые на бумазейную тряпку. Нищета была всеобщей, и только дочери победителей и «гордячки-суки» планомерно из нее выбивались. Число их умножалось с годами, но я уже знала, что мы принадлежим к разным классам.

Единственное, что вызывало улыбку Мандельштама, – это городские воробьи и бедные девочки, которые в дождь босиком шлепали по лужам, чтобы не испортить с таким трудом добытые лодочки. О них он с теплотой, вызвавшей у меня приступ ревности, рассказал в «Холодном лете». Зато «дам» он не переносил до ужаса и отвращения. Несколько «дам», салондержательниц, еще цвели в Москве и в Ленинграде. Они таинственно прижились в новых условиях и доверия не вызывали. Если мы случайно сталкивались с ними, Мандельштам становился непроницаемым, и я дрожала, что он вдруг нахамит по первому классу. Кое-кто из жен и сестер победителей благоволил «культуре». Вокруг них увивались дельцы типа Эфроса, устраивая дела свои и своего круга. Этим ни я, ни Мандельштам не видели никогда, и сейчас уже иссякают кретинские выдумки, что он наслаждался богатством, которого был лишен в юности, и прямо противоположные истории – будто он съел все печенье или всю икру у Каменевой... Рекомендую прочесть мемуары художницы Ходасевич, чтобы понять, чем пахло благополучие в те годы. Там вкраплена лживая история про Бабеля, вызволившего ее мужа из Чека, столь же достоверная, как рассказ о том, что ей показали в символистическом московском салоне среди прочих «модернистов» и Мандельштама в годы, когда он еще ходил с ранцем в школу и в Москве не бывал.

В суровом человеке, с которым я очутилась с глазу на глаз на Тверском бульваре, я не узнавала беззаботного участника киевского карнавала. В Грузии на эмигрантских хлебах мы

успели привыкнуть друг к другу, но еще не сблизились. В Москве я не успела оглянуться, как он заарканил и взнуздal меня, и поначалу я еще пробовала брыкаться. Меня тянуло к людям, к остаткам карнавала, который еще кое-где переплескивался. Меня звала приятельница, хозяйка шумного однокомнатного дома, куда захаживал сам Агранов и его будущие жертвы. Днем Мандельштам иногда соглашался зайти на минутку в этот дом, но вечером ни под каким видом. Одну меня он не отпускал никуда, и я так и не увидела московского салона времен становления империи. За мной заходили, чтобы вместе пойти в ночной подвал, открытый Прониным на манер «Собаки». Мандельштам не пустил. «Но ведь ты же сам бывал в „Собаке“», – говорила я. Он отвечал: «Очень жаль» или «Время теперь другое»... Из нашей комнаты было видно, как зажигаются окна в Доме Герцена, – это собирался Союз писателей или Союз поэтов, раздельно существовавшие тогда под одной крышей. По приезде Мандельштам зашел туда на какие-то заседания, а потом больше не заявлялся. К нашему окну непрерывно подходили люди по дороге в писательские канцелярии, и Мандельштам вежливо с ними разговаривал, но в личные отношения не вступал ни с кем. Официальная изоляция еще не началась, но он сумел изолироваться сам. Он знал, что тех, кого он мог бы назвать «мы», уже не существует, а случайных встреч и связей избегал. Да и с кем было якшаться: с Асеевым, усачами или попутчиками? С кем из них был возможен разговор или шутка? К нам приходил Лопатинский, заглядывал Якулов, остроумный, острый и легкий человек, появлялся Аксенов, желчный и умный. Однажды Якулов потащил нас к Краснушкину, где пили до одурения, но больше соблазнить Мандельштама бесплатной водкой не удалось. Якулов говорил, что русская революция не жестокая, потому что всю жестокость отсосала Чека. Сам он потом узнал, что это за птица. На его похороны Луначарский отвалил кучу денег, и Мандельштам возмущался: при жизни морят и лишают жены (ее посадили), а на мертвого не жаль и расщедриться. Мы жили рядом с Камерным театром, и туда нас зазывали художники, ходили и на постановки Мейерхольда, иногда с отвращением, иногда с интересом смотря одну за другой невероятно разные постановки. Театралами мы не стали. И театр был внутренне пуст и страшен, несмотря на внешний блеск. Все твердили одно слово: «биомеханика». Это было модно и пышно.

В двадцать втором году на Мандельштама был еще спрос. Кроме Нарбута с новым акмеизмом без Ахматовой, но с Бабелем и Багрицким, были кучи других предложений деловых литературных союзов. Однажды Мандельштама зазвал к себе Абрам Эфрос – я была с ним – и предложил «союз», нечто вроде «неоклассиков». Все претенденты на «неоклассицизм» собрались у Эфроса – Липскеров, Софья Парнок, Сергей Соловьев да еще два-три человека, которых я не запомнила. Эфрос разливался соловьем, доказывая, что без взаимной поддержки сейчас не прожить. Большой делец, он откровенно соблазнял Мандельштама устройством материальных дел, если он согласится на создание литературной группы, – «вы нам нужны»... Где-то на фоне маячил Художественный театр и прочие возможные покровители. Мандельштам отказался наотрез. Каждому в отдельности он сказал, почему ему с ними не по пути, пощадив только молчаливого Сергея Соловьева («за дядю», как он мне потом объяснил). Я и тогда прекрасно понимала, что подобное объединение было бы полной нелепостью, но Мандельштам обладал способностью наживать врагов резкостью и прямоотой, совершенно необязательными в подобных ситуациях. Эфрос никогда этой встречи не забыл, и она отозвалась в последующие годы достаточно явно – тысячами серьезных и мелких пакостей. Все прочие, люди безобидные, просто навеки запомнили нанесенные им обиды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.